

С. Я. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

ЗА 50 ЛЕТ

19 • П Р И Б О Й • 29

хвативший Горького. И как коммунизм, обещающий осуществить величайшие замыслы человечества, разрешить мудренейшие загадки жизни, — как мог он не пленить, не захватить Горького, этого жадного к жизни, ненасытного, вечно голодного мечтателя?

Как калика переходный старых русских легенд, он ходил из конца в конец по русской земле, — с севера на юг, с юга на север, из Одессы на Кавказ, с Кавказа по Волге в свой Нижний-Новгород. Ходил и учился. Получал среднее образование, проходил свой собственный университет. Но главное было не то. Он пытал Россию. Он хотел разгадать древние странные русские загадки: «Пойти туда, не знаю куда; найти то, не знаю что».

Потому ему и не сиделось на месте, потому он вечно перекидывался из места в место, из города в город. Придет и пытается людей. Он умеет пытать людей, выпытывать из них самое сокровенное, что таится на дне человеческой души. И дальше шел к другим людям. Так он ходил-бродяжил долгую жизнь, — ходил к разным людям, населяющим русскую землю, и к рабочим, и к боснякам, и к мещанам маленьких мещанских городков, и к таким же, как он, бродягам, интеллигентным каликам-переходным, никогда не переводившимся на Руси.

Так же подходил он к людям высоких калибров — и к Короленко, и к Толстому, и к Чехову, и к Леониду Андрееву, которого никто не выпытывал так, как Горький. У него были разнообразные знакомства — он привержен был и к Ваське Буслаеву, и к Ричарду Львиное сердце.

Помню Горького ялтинского, петербургского, каприйского. Он был неуклюжий, с длинными руками. Спина у него немножко горбом, как у грузчиков, что долго таскали десятипудовые мешки, и когда ходил, сутулился, — мне все казалось, что походная сума еще не слезла с его плеч. Сидеть он не умеет, у него нет определенной манеры сидеть, как у людей, привыкших сидеть, кажется, он только присел и вот-вот снимется. Лицо серое, сумрачное и только глаза голубые, прозрачные, цветочные глаза

ярко встают на пасмурном лице. Когда улыбается, лицо становится моложе и ласковее и немножко хитренькое. Слова из него выходят медлительные, тяжелые, словно из-под пресса, давно залежавшиеся, с трудом вырывающиеся. У него совсем нет легкой речи, у него нет гостинных разговоров — того, что называется по-французски «causerie» и что по-русски надо перевести словом «калякать». Слова у него гневные, ругательные или восторженные и умиленные. Он ругательно ругает Россию за то, что она неопытна, не так сказочно прекрасна, как он желал бы, и хочет себя убедить, что презирает ее. Ругается, когда не находит в ней Васьки Буслаева и Ричарда Львиное сердце и когда находит их или «выдумывает», — думает, что нашел, — восхищается и умиляется. Когда встретит новый талант, и даже кусочек таланта, восхищается и обнимает нового человека своей грубоватой, но горячей лаской. Когда волнуется радостно, глаза становятся влажными. Он плачет, когда смотрит там высоко на Капри в кабачке пляску — великолепную тарантеллу, эту удивительную итальянскую сказку.

Он не политик. Политика не уживается с сказкой.

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

Чехов был сидячий человек. Он редко ходил в гости: кажется, не очень любил гулять, — я не помню, чтобы он ходил пешком за пределы Ялты.

И когда выходил из своего дальнего Аутского угла к морю, садился на Набережной у книжного магазина Синани, с которым притесствовал, и подолгу сидел, наблюдая прищуренными глазами, как волны катятся по морю, слушая, как лениво бьются они о каменную набережную, любуясь, как белые чайки взлетают и падают в море.

Подходили дамы, поклонницы Антона Павловича, мимо шли туземные люди. В Ялте Чехов был у себя дома. Он давно и близко знал этих туземных людей, караимов, армян, греков и так

сказать международных людей, помеси разных национальностей, которых так много на юге России и в Крыму, — и в его родном Таганроге, и в Ялте. И, кажется, ему нравились эти красочные южные люди, и у него были знакомства среди них. Раз он затащил меня к такому же караиму, как Синани, на чебуреки: «классические, — говорил он, — каких вы нигде больше не попробуете». И был оживлен и весел за действительно классическими чебуреками, среди караимов, почтительно и приязненно относившихся к Чехову. Раз я встретил у него священника греческой аутской церкви, пришедшего к нему с несколькими прихожанами посоветоваться насчет общинных дел, и я знаю, что Чехов в чем-то помог им.

А потом он шел в свой уютный домик, в задумчивый кабинет, откуда смутно вдали виднелся кусочек моря, садился за письменный стол, против которого Левитан написал на камине ласковую русскую даль с смутными стогами сена, пробегал газеты, которых получал много, прочитывал письма, которых получал множество. И... если не писал, мечтал о Москве.

Его любовь к Москве была удивительная. В своих воспоминаниях о Чехове¹ я писал, что три сестры, все твердившие: «В Москву, в Москву!», были все он же, Чехов, непрестанно мечтавший о Москве, находивший ее самым приятным местом в мире. Этот южанин, таганрогский человек, нашел другую родину — Москву. Там все ему нравилось — и улицы, и кривые переулочки, и колокольный звон Кремля и разных Никол, и нравы, и быт, и люди. И нравилась не только Москва, но и все подмосковье.

У меня было наоборот; я, владимирский человек, влюбился в Крым, и мне было странно, немножко смешно и трогательно слушать, как он рассказывал о московских прелестях. Помню, Чехов, чтобы сокрушить меня, как-то возвратившись после лета, проведенного под Москвой на Клязьме, где он ловил пискарей

¹ См. мои «Близкие тени» — литературные воспоминания.

и окуней, с торжеством объявил мне, что он прибавился за лето на восемь фунтов, в то время как в Ялте все терял вес. Я понимал это, — не все хорошо переносят ялтинскую летнюю жару, но когда Чехов начинал серьезно убеждать меня, что октябрьско-ноябрьский или мартовский московский воздух полезнее для его туберкулезных легких, чем ялтинский, — я недоуменно слушал его и чувствовал, что мои уговоры не ездить в это время в Москву бьются в него как в стену.

И, может быть, поэтому в Ялте Чехов часто бывал сумрачный и грустный, не такой, каким я его видел в Москве. Он оживлялся, когда приезжали в Ялту писатели, был более обычного оживлен, когда в Гаспире жил Толстой, а в Олензе Горький, но по-настоящему веселым я видел его во время приезда Художественного театра в Ялту с чеховскими пьесами. Я помню обед у Чехова, где были артисты Художественного театра и Горький, и никогда не видал Чехова таким веселым и радостным, как во время этого обеда.

В Чехове не было горьковской дерзости, горьковского озорства. Красивый, изящный, он был тихий, немного застенчивый, с негромким смешком, с медлительными движениями, с мягким, терпимым и немножко скептическим, насмешливым отношением к жизни и людям.

И дом свой устроил по своему вкусу, уютный, с маленькими комнатами. Мы начали строиться почти одновременно. Он дразнил меня, называл мой дом, высоко на горе над Ялтой, откуда открывался великолепный, единственный вид в Ялте на море и на горы — «Вологодской губернией», а я называл его место — «дыра». Мне не нравилось выбранное место в дальней части неопрытно содержавшейся Аутки, в ложбине у пыльного шоссе, но у Чехова было уютнее и интимнее, в особенности, когда рассадил он свой прекрасный садик, и пустынное место стало обжитым, забегали по садику две ласковые собачки и торжественно зашагала по двору цапля.

К политике Чехов относился равнодушно, пренебрежительно, даже можно сказать немножко брезгливо. Он не любил заостренных политических людей, редко бывал в домах, где мог встретить их, слышать интеллигентские споры о политике. Мы были с самого начала в добрых отношениях. Он сердечно подошел к нашей работе по устройству в Ялте безденежной туберкулезной публички, собирал пожертвования,¹ часто обращался ко мне с просьбой устроить нуждающихся больных, которых присылали к нему московские знакомые, но наши отношения долго не делались интимными — мешала политика. Антон Павлович был более чем равнодушен к тому, что волновало меня, и был слишком мягок и терпим к людям, которые были непереносны для меня, и на этой почве у нас возникала иногда временная отчужденность. К нему приезжали разные люди, пестрая публика.

Помню один неприятный случай. Как то раз я встретил у него Меньшикова, нововременского, уже высказавшегося до конца Меньшикова. Чехов познакомил нас. Оставаться в обществе Меньшикова мне было неприятно, я прождал несколько минут и, отговорившись какими-то делами, ушел, не простившись с Меньшиковым. На другой день Чехов упрекал меня в нетерпимости, в том, что я обидел Меньшикова. В другой раз по поводу беспорядка в Петербургском университете, в которых деятельное участие принимал мой сын, Чехов стал говорить, что эти бунтующие студенты завтра станут прокурорами по политическим делам, а когда я заметил, что в массе эти студенты несомненно будут больше подсудимыми, чем прокурорами, он пренебрежительно махнул рукой и не продолжал разговора.

Это не значит, что Чехов был ближе к прокурорам, чем к подсудимым, не значит, что он не интересовался общественными

¹ Чехов не практиковал, хотя всегда интересовался медициной, но какой-то московский купец, несмотря на все отговорки Чехова, пожелал непременно получить от него совет и заплатил 50 р. Чехов передал нам этот гонорар, долго очень гордился этим и с торжеством спрашивал меня: — «Ну, вы, ялтинские врачи, получаете 50 р. за визит?».

делами, что равнодушно проходил мимо того, что совершалось кругом. Он был горячо предан общественной медицине, земскому школьному делу, известно, как много делал он в своем Мелихове, я знаю, как участливо относился он к нахлынувшему бедствию голода. На Сахалин он ездил не как турист ради развлечения. И в Ялте он много и многим помогал, чем мог. Он был чуткий к чужим нуждам, добрый активной добротой и враг лжи, сытого самодовольства, враг обмана и насилия, но человек левитановских пейзажей, настроения не бунтующей музыки Чайковского, Чехов не любил громких криков, трубных звуков. Ему чуждо было все острое, повелительно, непреклонно требовательное, — ему не сроден был бунт.

И вот пришло время, не стало прежнего Чехова... И случилось это как-то вдруг, неожиданно для меня. Поднимавшаяся бурная русская волна подняла и понесла с собой и Чехова. Он, отвертывавшийся от политики, весь ушел в политику, по-другому и не то стал читать в газетах, как и что читал раньше. Пессимистически и во всяком случае скептически настроенный Чехов стал верующим. Верующим не в то, что будет хорошая жизнь через двести лет, как говорили персонажи его произведений, а что эта хорошая жизнь для России придвинулась вплотную, что вот-вот сейчас перестроится вся Россия по-новому, светлому, радостному...

И весь он другой стал — оживленный, возбужденный, другие жесты явились у него, новая интонация послышалась в голосе.

Помню, когда я вернулся из Петербурга в период оживления Петербурга перед революцией 1905 г., он в тот же день звонил нетерпеливо по телефону, чтобы я как можно поскорее, немедленно, сейчас же приехал к нему, что у него важнейшее, безотлагательное дело ко мне. Оказалось, что это важнейшее безотлагательное дело заключалось в том, что он волновался, что ему безотлагательно, сейчас же нужно было знать, что делается в Москве и Петербурге, и не в литературных кругах, о которых

раньше он исключительно расспрашивал меня, а в политическом мире, в надвигавшемся революционном движении... И когда мне, не чрезмерно обольщавшемуся всем, что происходило тогда, приходилось вносить некоторый скептицизм, он волновался и нападал на меня с резкими не сомневающимися, не чеховскими репликами.

— Как вы можете говорить так! — кипятился он. — Разве вы не видите, что все сдвинулось сверху донизу! И общество, и рабочие!...

И как-то все перевернулось в нем. О том же Меньшикове он говорил мне:

— Читали вы, что написал этот мерзавец Меньшиков?

Я ответил, что Меньшиков был и есть Меньшиков и что у меня не всегда бывает охота и терпение читать его. А он все волновался и повторял:

— Нет, вы прочитайте, что он в последнем номере пишет.

Стал рассказывать мне о «Новом времени», с которым был связан и о котором раньше нередко упоминал. О самом старике Суворине он редко говорил и, когда говорил, косвенно защищал его. Помню, он мне рассказывал, что возмутительная статья в «Новом времени» по поводу 1 марта, требовавшая чуть ли не четвертования «злодеев», была помещена в газете без ведома Суворина, написана Иловайским, но относительно «Нового времени» он не жалел красок. Рассказывал, какие там дурные люди ведут дело, как там фабрикуется заведомая ложь, как подкупаются сотрудники, как во время Дрейфусовского дела переделывались и подделывались телеграммы, получавшиеся из Парижа от их собственного корреспондента, как вставлялись «не» в телеграммы, выбрасывалось нежелательное, ставились вопросительные и восклицательные знаки — появлялась в газете совсем другая телеграмма с противоположным смыслом.

Здоровье Чехова становилось — в значительной мере, думаю, из-за поездок в Москву — все хуже и хуже, и мне было трогательно и волнующе наблюдать эту просыпающуюся в Чехове

веру в близкую новую жизнь, поднимавшееся в нем новое настроение.

Мы вели частые и долгие споры о литературе, но о произведениях друг друга говорили редко и как-то стыдливо. Только раз, — помню, шли мы куда-то, — глядя в сторону, Чехов неожиданно сказал мне:

— Прочитал ваш рассказ («О, мама!»). У вас там как на виолончели играют.

Тем более поразило меня, когда Чехов, всегда сдержанный в разговорах о своей литературной работе, неожиданно протянул мне рукопись:

— Вот, только-что кончил... Мне хотелось бы, чтобы вы прочитали.

Я прочитал. Это была «Невеста», где звучали новые для Чехова, не хмурые ноты. Для меня стало очевидно, что происходил перелом во всем настроении Чехова, в его художественном восприятии жизни, что начинается новый период его художественного творчества.

Он не успел развернуться, этот период. Чехов скоро умер.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

В 1903 году Лев Николаевич Толстой приехал в Гаспру в имение С. В. Паниной отдыхать и лечиться от тульской малярии и длительных неполадков в кишечнике.

Меня чрезвычайно интересовал Толстой, но я не собирался ехать к нему. На поклонение, как к вероучителю, я не мог идти, а ехать для знакомства было неловко, — слишком много к нему ходило людей, чтобы только посмотреть Толстого, — но вскоре по приезде Толстой сказал кому-то из общих знакомых ялтинцев: «Нужно дать доктору Елпатьевскому тысячу рублей на туберкулезных больных». Это облегчило мне посещение Толстого, и вместе с доктором Альтшулером, начавшим лечить дочь Льва Николаевича, Марию Львовну, я отправился в Гаспру.

Комментарий

Синани Исаак Абрамович (1855–1912) – владелец книжно-табачного магазина «Русская избушка», находившегося в здании гостиницы «Франция» на ялтинской набережной (дом не сохранился).

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) – консервативный публицист, постоянный автор «Нового времени», корреспондент Чехова.

Иловайский Дмитрий Иванович (1932–1920) – историк, придерживался консервативно-монархических взглядов.

.